

## **Анатолій ТРЕМБИЦЬКИЙ**

### **ІСТОРІЯ ДУБНО 20-Х РОКІВ XVIII СТ.**

#### **У ПРАЦІ ПОДІЛЬСЬКОГО СВЯЩЕНИКА ЄВФИМІЯ СІЦІНСЬКОГО**

В особі подолянина протоієрея Євфимія Сіцинського (\*1859 – †1937) українська наука має справжнього знавця української історії, сакрального мистецтва, храмової архітектури, етнографії, археології, краєзнавства, бібліографії, музейної справи.

66

Небагато знайдеться діячів, які могли б зрівнятися з ним широтою світогляду і багатогранністю інтересів. Його документальна спадщина, – це більше 300 праць і біля

150 статей-рецензій на більш ніж 1150 історико-краєзнавчих та етнографічних статей з

різних видань з усієї Росії [3].

До історії Дубенщини Євфимій Йосипович звертався в історичному нарисі «Гектор Кам'янецької фортеці» (1934) [2], де поряд з описом дійсних подій облоги та захоплення

турками Кам'янця в 1672 р., розкрив життєві шляхи одного з оборонців

Кам'янецької

фортеці Юрія-Михала Володийовського – головного героя роману Г. Сенкевича «Пан

Володийовський» та його дружини Кристини, яка під час цих трагічних подій, разом із

своюю подругою Свентославою Потоцькою, спочатку переховувалася в Ієзуполі (нині

*сmt Ієзупіль (пол. Jezupol) Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. – авт.). А потім*

перебралися в село Стрільці (нині – авт.) під Дубном, де подружжя

Володийовських

провело декілька днів і «перед розлукою зробили собі взаємні записи на випадок смерти:

Володийовська записала своєму чоловікові Панівці Зеленецькі, а він її записав 8.000

злот. на своїх Подільських маєтках». Після цього він повернувся до Кам'янця, це була

їхня остання зустріч [2, 15-17].

Найбільш цінні аспекти історії Дубенщини подав Є. Сіцинський в маловідомій праці «Исторический рассказ из прошлого столетия» (1889) [1], яка є перекладом одного

з історичних нарисів відомого історика Польщі та України Й. Ролле. Володіючи значними знаннями і багатством мови, образністю мислення і поетичним хистом, Євфимій Сіцинський показав реальні історичні події, поєднав науковий виклад і художню майстерність, не відступив від історичної істини, був точним і об'єктивним

в

описі явищ і ситуацій, прагнув їх не змінити, а лише образно оживити, емоційно підсилити, висвітливши різні аспекти історії минулого Поділля й Волині, подав різного

роду пригоди, цікаві випадки з історії Волинського краю, історії і культури України, її земель, а також оповів про трагічну долю литовського українця-переселенця Опанаса.

Підґрунтям написання цього історичного нарису було глибоке вивченням минувшини по

архівних пам'яток та історичних матеріалах, Дубенські магістратські книги 1677-1720

рр. та глибоке знання автором життя та побуту українського народу, легенд, переказів. В

нарисі художньо відтворено багатогранне життя минулих поколінь, змальовано картини

побуту місцевих жителів, їх етнографічні й традиційні риси життя, безправне становище

українських селян, їх муки й поневіряння. Праця пронизана гордістю і любов'ю до природи, до неповторних ландшафтів України, великою повагою до традицій і побуту

українського народу знедоленого і замордованого поміщиками. Крім того, в праці висвітлено цікаві аспекти історії тодішнього судочинства та магдебурзького права вДубно, коли «переступити букву закону не було ніякої можливості». З метою введення в

науковий обіг цієї малознаної праці та надання можливості історикам і краєзнавцям

використовувати її в своїх дослідженнях, вона подається повністю із збереженням стилю

автора.

### **Исторический рассказ из прошлого столетия д-ра Антония I.\***

(Перевод с польского Е. Сецинского)

Крестьянские переселения, повторяющиеся теперь в южных губерниях, имели место и раньше, назад тому полтора века. Теперь крестьянин, живущий на Заднепровье,

идет на Амур, потому что земли ему настаёт, и он ищет лучшей доли в далеких краях,

особенно когда эту долю, его ожидающую, рисуют заманчивыми красками. Тоже самое

делалось и в начале прошлого столетия, с тою только разницею, что охотники переселяться отыскивались за Саном, на Червоной Руси, в северной Мало Польше, а

обетованной землей, в которую их запрашивали, были Подольские равнины, Брацлавщина, Киевщина и наконец, дикие поля по обоим берегам нижнего Днепра, –

словом, целый край, называемый когда-то летописцами русским Понизьем за исключением, конечно, Волыни. Последняя местность менее подвергалась опустошениям: она хоть отчасти отогнала казацкую метелицу, избежала турецкой бури,

наконец, отвратила толпы Палия, благодаря региментарству Ледуховского, который

сумел дать лад и порядок.

С Подолем было иначе: падишах господствовал здесь целых 27 лет, и господствовал по-варварски. В столице воеводства он мог еще называться владетелем,

мог называться им и в нескольких меньших подольских городах, как в Ягельнице, Баре,

Шаргороде, Меджибоже, но за пределами их власть его прекращалась.... Да и что могла

значить эта власть на обширной пустоте? Ибо этот край, некогда текущий молоком и

медом, превратился в дикую пустыню; едва несколько сот обасурманившихся крестьян, этих «потурнаков» по принуждению, пряталось по ярах, ничего не ведая друг о друге; земли они не обрабатывали, да и какую пользу принесла бы эта обработка земли, когда полоска засеянного поля, указывавшая на присутствие человека, привлекала к его убежищу разбойников, которые забирали у него пожитки, а часто в добавок снимали и голову его. За эту голову каменецкий паша платил наличность, положим немного, не больше 20-ти грошей, но все таки платил. Земля более четверти столетия лежала «паром», на местах прежних сел разрослись рощи, сады превратились в леса, сожженные хаты стали навозом, удобряющим и без того тучную землю, растительность буйно разрослась. Иногда среди таких зарослей торчали одинокие каменные развалины: огонь не мог уничтожить камня; не нужны они были шныряющему Турку, а тем более Татарину, и валялись окончательно; мало по малу оплетал их красивый дикий плющ, подольские паны, имеющие слишком мало силы, чтобы задушить схваченную в объятия жертву, но за то слишком много любви, чтобы нарядить, украсить красивым венком их старое, изможденное чело, утешить в печали, шепча слова утешения каждую наступающую весну... С боков их из расщелин выростали согнувшиеся, печальные березы, пугливый клен и дрожащая осина. Под такой-то защитой родины просуществовали много лет, пока не дождались лучших времен, — воскресшей возле них жизни. В таком состоянии находилась земля, густо заселенная когда-то раньше владычества здесь Оттоман; а что говорить о Брацлавщине и Киевщине, которые еще раньше, ante hostilium, не избежали так называемой «инкурсии козацкой». Там жизнь совсем замерла, без следов, даже руин не осталось; новые владельцы, пришедшие из-за Босфора, не имели хлопот придавить здесь жизнь. И только чрез несколько лет такого деятельного управления на узкой, нейтральной полосе вдоль правого берега Днепра вольница казацкая начала образовывать полки; опытный и предусмотрительный Палий стал собирать возле себя своевольные толпы, но и он не сразу приобрел себе эту славу в известность, а вместе с тем и силу, привлекающую к нему поспольство. Только с окончанием турецкой неволи началась новая колонизация; явились землевладельцы со своими недавними правами, и никто не спорил с ними об этих правах

на владения, не имели они надобности и хлопот выводить из владений неправого владельца, недавно подданного его султанской милости, потому что собственно не

нашли здесь живой души. Осмотрелись кругом, – земля отдохнула и обещала большое

плодородие, – но откуда достать рабочих рук? Стали пользоваться прадедовским способом – запрашиванием на «слободы», на это приглашение явилось несколько пришельцев, которые знали свою рабочую ценность и потому дорожились; кто давал

больше, тот и забирал их к себе, и кончилось тем, что все давали свободу на более, чем

десяток лет, – право пользоваться землею без оплачивания подати, с условием только,

что такой неосадчий за условленную плату будет помогать землевладельцу возделывать поля.

Тогда Подолье, прежде всего покрылась сетью сел, деревень и хуторов; Брацлавщина же и Киевщина имели много пустошей в то время еще, когда над Днестром

оканчивался срок «слобод». Крестьянин побережный с тревогой думал о том, что приближается время панщины и с неохотой этому покорялся, – и кого же это удивит? В такие часы тяжелых дум являлся под его стиху таинственный человек, большею частью

еврей, приходил он с добрым советом – подговаривать к переселению дальше на юг.

– Ты здесь уже кончаешь «слободу», – говорил он, – а там начнешь ее в изнова; здесь земля уже истощенная, а там еще не тронутая.

И до тех пор подговаривал, пока не искушал недавнего осадного. Понятно, что из этих переселений более всего выигрывал этот искуситель, называемый народом «выкотцем», крестьянин же тратил много, а еще больше тратил владелец заселенного с

большим трудом села; часто вечером ложился спать спокойным о завтрашнем дне, а

утром просыпался нищим, потому что у него сразу не ставало рук, чтобы собрать ото

богатства, какие ему давала его земля. Отсюда то явилась жажда мести и эти бесконечные раздоры с соседями «о беглых хлопам», наконец засады в чистом поле на

переселенцев идущих на юг под предводительством «выкотцев».

Но это не удерживало жажды переселений, суровые предписания закона вовсе не были в силах остановить это стремление; выше всех опасностей была вкоренившаяся в

народе вера в богатство земли, лежащей на далеком юге. С течение времени эта вера

получила легендарное значение, переносили ее люди от села в село, повторяли ее при

знойной работе в поле, за чаркой в корчме, мечтали о ней во время молитвы, снилась она

им по ночам...

Легкомысленная мечта об этом счастье, об этой мужицкой доле, доле несвязанной

никакими обязанностями панщины, долго еще пряталась под низкой стрехой

крестьянина и заходила далеко на запад и север. Даже в Литве о ней шептали при домашнем очаге, даже в Литве не один поднимался с логовища, шел в далекий край, не

находил ее и пропадал.

Мы здесь расскажем судьбу одного переселенца, – это драма, полная ужаса поражающая варварскою простотою. Записали ее Дубенские акты, и, видно, славетному

писарю магистрата она показалась необычной, не повседневной, когда он снабдил документ дополнением, допел до конца печальную песню, видно сомневался, сможет ли

слушатель допеть ее в своем сердце.

Дело было весной 1714 года. На проезжей дороге недалеко от Пружаны стояла корчма кривобокая, сгорбленная, с западшейся крышей, осевшая в землю;

грязный ее

фронтон выходил на дорогу, ведущую в местечко, задняя же сторона примыкала к лесу.

Соседство это не говорило в пользу хозяина, и действительно, наговаривали, что он

ведет знакомство с разбойниками. Но нам не идет дело об Абрамке или о его семействе. Нас занимает в настоящий

раз иная личность, занимавшая самую низшую степень в общественной иерархии, самую

низшую в корчемной иерархии, а именно так называемый «пахолок».

Пан отдал Абрамку в аренду эту импровизированную австерию со всеми удобствами: давал ему водку, вырабатываемую в собственной винокурне, несколько

возов соломы, немного хворосту для отопления и ко всему этому сторожа, обязанностью

которого было смотреть за корчмой, отапливать ее и, что najważнее, угождать всем

фантазиям арендаря и его семьи. Доля тяжелая, унижительная, почему это место занимали самые несчастные из крестьян. Обыкновенно это был человек, не знающий

роду – племени, не пользующиеся протекцией солтыса и подстаростия, – словом, человек не имеющий где голову приклонить; такой делался или пастухом панской скотины, или «пахолком».

На долю Опанаса досталось последнее и он покорился судьбе безропотно, хоть и чувствовал, что его Бог создал для чего-то лучшего, что на жизненном пиру ему должно

бы принадлежать более почетное место, ибо он имел представление о потребностях

свободы, часто у него являлось желание лучшей жизни... но как достигнуть этого, он не

понимал, хотя и знал, что люди как-то достигают этого.

И все таки был «пахолком», равнодушно смотрел на сношения Абрамка с разбойниками, равнодушно отстранял водку, подносимую ему арендарем, когда тот

убедился, что Опанас знает о его шашнях и может его выдать. Но Опанас до этого героизма не дорос; ему нет дела до этого; пусть будет целый свет злодеем, только бы он

не был таким. Молчал, делал свое дело, присматривался к прохожим, заглядывавшим в

корчму, давал себе разные умозаключения, день ото дня ждал той минуты, которая поставит его на ноги.

И вот раз ему показалось, что эта минута наступила.

Был поздний апрельский вечер, темный, хоть и теплый и тихий, когда к корчме подъехали путники и стали звать, чтобы отворить им ворота. Пахолок исполнил приказание и вместе с тем не мало был удивлен, увидев необычайные одежды и чужестранных людей. На «подсенье» въехало две поместительные повозки; на первой из

них сидел немолодой шляхтич, около другой ехало шесть всадников, все как на выбор

рослые, широкоплечие, все в высоких бараньих шапках, в бурках, вооруженные с ног до

головы, хлопы и как будто не хлопы, говорили на языке понятном Опанасу, а между тем

такие бойкие и развязные, даже бойчее и развязнее иного тамошнего шляхтича.

Старший

между ними соскочил с коня, вынул из воза фонарик, зажег, осмотрел

внимательно все углы и на вопрос сидящего на возу пана – можно ли здесь

переночевать ответил, кивнув

головой, – «пополам с бедой».

Приехавшие засуетились, устали коней рядом около разложенных «трептюков», наполненных овсом; шляхтич по видимому начальник этой компании, вошел с

другими в

избу, а два остались при возах сторожить.

– Кто это? Откуда, – думал Опанас. Втиснулся он в конурку, занимаемую семьёй арендаря, и там ему сказали, что этот шляхтич есть губернатор (управляющий именем)

важного пана Украины и везет деньги в Пружану, великому гетману литовскому старому

Сапеге, а люди при нем – это дворские казаки, милиция, такие же хлопы, как и он –

Опанас, только хлопы вольные из какого-то счастливого края, потому-то такие бойкие и

«за панибрат» с губернатором. Хотелось ему узнать еще больше и он вышел опять на

«подсенье», прижался в углу и стал прислушиваться: оставшиеся при возе с деньгами,

чтобы отогнать сон, разговаривали между собою. Из этого разговора он многому научился: казаки проклинали Полесье на чем свет стоит, проклинали пески, мизерные

поля и непроходимые пущи; тесно им, детям степей, среди лесов, дивно среди маленьких

дереушек, купающихся в болоте, среди серых хат, закуренных, дымных; из этой же

чистосердечной исповеди дорожных невзгод выступала как бы для сравнения картина

полуденных окраин, а так как кистью водила любовь и тоска, то и краски были

чарующие. Опанас слушал, боялся громко вздохнуть, чтобы не прервать рассказ, подобный скорее на сказку, – может-ли в самом деле существовать на земле

такой

счастливый край? Бедный пахолок не спал всю ночь.

С рассветом гости отправились дальше. Сторож вышел за ворота, хотелось ему

посмотреть на них днем: еще лучшими они ему показались. Один из них возвратился в корчму, видно имел какую то надобность; Опанас несмело подошел к нему.

– Скажи мне, пан-казак, – спросил он, и в самом деле у вас так хорошо, как вы ночью рассказывали?

– Иди и посмотри сам.

– А примут же меня там?

– Попробуй, может быть и примут, да и почему не принять! Земли там пропасть, бери \_\_\_\_\_, сколько угодно, только поцарапай и зерно даст сто зерен, трава в рост человека и как зацветет весной, то такой запах, как в раю, волы вчетверо больше ваших; деревья, правда, мало, разве где над рекой виднеется кустик, но зачем нам дрова, если в степи другого топлива достаточно.

– Так говорите, что примут? Прошептал как в горячечном бреду Опанас, – а как же туда добраться? – Иди в ту сторону, где солнце отдыхает в полдень и по дороге спрашивай людей, где Украина.

Сказал и, ловко поворачив коня, отъехал, конь проворно поскакал, чтобы догнать других.

Попробую, подумал Опанас, и на рассвете следующего дня был уже далеко от Амбрамковой корчмы.

Шел он все «вперед себя» долгих несколько недель и так как в котомке имел только лохмотья, а в кармане ни гроша, то по дороге задерживался у добрых людей, работал им за кусок хлеба и к осени добрался к Дядькевичам, в окрестностях Ровно.

Здесь лапти его отказались служить, рубаха свалилась с плеч, свитка усеялась дырами, а холода стали большие. Нечего было делать, пришлось на зиму искать пристанища, – и нашел: сделался работником. Трезвый, тихий он снискал себе любовь подстаростия.

Однако служба эта давала только кусок хлеба, доставляла кой-какую скромную одежду и больше ничего. Литвин выносливо начал скупиться, отказывать себе во всем, чтобы сложить хоть немного денег и явиться на эту Украину не с палкой только нищего.

И собрал таки, доказал невозможное, – и начал опять мечтать о вольной земле, о свободной доле, но тут стала ему поперек дороги любовь. Как это случилось, откуда это взялось, не мог себе объяснить бедный парень, но что полюбил, не сомневался.

В кухне подстаростия между женщинами, занимавшимися разными работами, была девушка – сирота. Одинокая доля их связала. Сирота, которой, каждый помыкал, замарашка, растрепанная и совсем некрасивая, она была работящей, тихой, покорной, уступающей каждому дорогу, исполняющей без ропота самые тяжелые приказания.

Дворовые люди подшучивали над ней, кухарка давала потасовки, заохачивая ее к проворству; ни один парубок не сказал ей доброго слова, не затронул никогда. Все это

видел Опанас, видел обиды, переносимые дивчиною, и сначала, как бы желая вознаградить ее за обиды, сказать к ней ласковое слово, потом наступило более близкое

знакомство, а когда рассказал ей о своих намерениях и когда она высказала готовность

идти с ним в эту неведомую Украину, тогда уже ничего не воспрепятствовало их союзу.

Оглашение, брак, потом скромная свадебная пирушка опорожнили совсем мизерный

кошелек будущего колониста диких полей. И, чтобы заработать кусок хлеба, пришлось

им медовые месяцы проводить между чужими людьми.

В этих скитаниях от села в село послал им Бог дитя – мальчика; прибавилось заботы и вместе с тем настоятельная нужда добраться до обетованной земли.

Пошли

дальше. В Горостове опять должны были задержаться на два года, – но все таки были

ближе к югу; он служил, она кормила ребенка, все болела, добытые деньги шли на

домашние нужды, на «знахарки» и лекарства. Опанас потерял надежду собрать нужные

средства для продолжения путешествия. Может быть, ему иногда приходило на мысль,

что если бы не жена, давно бы он достиг бы цели, – завязала свет... но был сын, его

одинаково любили оба, и в ласках мальчика сглаживалась взаимная холодность.

О жене

он не заботился, – она, слабосильная, хотя и готовая работать, мало могла ему помочь, –

так пусть же по крайней мере нянчить сынка. О жене он не заботился, говорил: не обращая внимания на то, что она второй раз забеременела, решился пуститься в незнакомую дорогу.

Весна 1719 года началась рано; снег таял, солнце пригревало, воды бежали и даже

начала несмело показываться на Божий свет травка. Мальчику было уже полтора года, и

они могли беспрепятственно выступить в путь.

И действительно, «за неделю пред русским мясопустом» они были уже в пути.

Опанас решился ни в каком случае не останавливаться на пути хотя бы пришлось терпеть и холод и голод. Пять ведь лет они путешествует, а еще не видно и начала этой

обетованной земли. Люди ему говорили, что этот обетованный край обширен, что только

на противоположном конце его можно найти настоящую землю – кормилицу и луга душистые.

Покорная и молчаливая жена несла дитя, он в котомке немного дырявого платья и съестные припасы.

Но счастье не служило путешественникам. Ранняя зима непостоянна: в марте

солнце перестало греть, небо заволкло тучами, холодный дождь стал хлестать лицо, а затем превратился в снег, сделалась метель, как зимой. Все внимание родителей было обращено на мальчика; он видимо зябь; по этому прежде всего окутали его своими лохмотьями, а потом несмело застучались в одну, в другую хату, но везде их принимали, как бродяг. А в то время предписания относительно бродяжничества были весьма строги на Волыни, так что даже люди жалостливые к слезам бедняков затворяли пред ними двери. Более смелый селянин бросал кусок хлеба путникам и прибавлял: – Идите с Богом, а то как узнает солтыс, то будет беда. Менее смелые затворяли двери пред самым носом, не один травил собаками, но собаки были милосерднее людей: бросались с лаем на бедняков, но не делали им вреда. Дитя очевидно ослабевало, его худенькое тело нуждалось в теплом помещении и горячей пище. Женщина несмело предложила стать на службу в первом лучшем селе. Литвин, раздраженный противоречием жены, гневно закричал: – Нет, нет! Только на Украине остановлюсь. Пошло так несколько дней; метель все усиливалась, силы путешественников ослабевали, малютка коченел от холода. Нечего было делать, зашли в корчму. Это был заезжий дом, стоящий в поле недалеко Ляховець. Женщина села под печкой, Опанас подошел к стойке, развязал свою кошину: было в ней всего-на-всего два гроша. Разделил он эту сумму на двое, за грош купил водки, а за другой – бублик... и водка и бублик назначались не для жены, не для себя – они имели сухой кусок хлеба, – а для единственного сынка, который сильно занемог. После минутного отдыха пошли дальше, холод придавал им энергии. Сумерками они уже были на полмили от корчмы. Но вот женщина не смелым и тревожным голосом прошептала: – Холодеет. Опанас понял, что она говорит о сыне, подбежал, отбросил лохмотья, окутывавшие тело ребенка: оно вытянулось, окоченело, глаза неподвижны, в конвульсивно сжатой ручке держал не тронутый бублик. – Да, холодеет, сказал он встревоженный, – нужно спасать. Он осмотрелся, кругом: темно, как в могиле, ветер метет по дороге снежную пыль; снег, пока упадет на землю, кружиться вверху над головой, висит как страшное облако, а потом бешеными скачками, как бы расвирепев за то, что буря его рвет в пылинки, бьет в лицо, в щеки, засыпает глаза... и воет так страшно, так жалостливо. – Нужно спасать, повторил еще раз Опанас, приложил руку над глазами в форме козырька и опять стал всматриваться в даль. Воспользовавшись минутой, когда метель,

как бы уставши притихла и снежная пыль улеглась, он увидел вдали темное пятно – лес.

Идем туда, сказал он жене, разведем огонь.

И погрязши по пояс в снег, он употребил остаток сил, чтобы добраться к лесу.

Остановились; с ловкостью человека, выросшего в лесах, начал он собирать ветви,

но руки у него дрожали, кремень не давал огня, «кресало» отказывалось повиноваться.

Только после получасовых усилий вспыхнуло пламя, но еще слишком слабое, чтобы

могло противиться снегу и ветру.

Дай еще хворосту, закричал жене.

Она молча положила ребенка под куст, окрыла его свиткой, снятой с себя, и начала

ломать ветви. Наконец добились своего. У Опанаса, не смотря на морозный ветер, чело

было в поту, дым выедал ему очи, но он все забыл, он думал только о ребенке, о том,

чтобы его согреть. Мать принесла мальчика, села возле огня и посмотрела ему в глаза; невыразимая

тревога изобразилась на ее лице: глаза дитяти имели блеск тусклого стекла, лицо блее

снега, ни капли крови; наклонилась к устам, – не слышно дыхания.

– Умер, крикнула она с ужасом.

Сорвался отец, как зверь, и приник к дитяти, – умерло. Посмотрели они друг на друга, что-то зверское было в этих взглядах, отчаяние вытеснило из сердца все другие

чувства.

– Ты убил его, промолвила глухим горловым голосом женщина. Всегда покорная, она теперь превратилась в волчицу, защищающую своих детенышей.

– Молчи, не накликай лиха, ответил Опанас, уже не владея собой, – молчи!

– Убил ты его, повторяла все громче и громче, ты настоял выйти из корчмы в такую метель. А потом наступил плач, нарекания, проклятия. Начала она бранить его,

который готов был для сына пожертвовать своей жизнью. Мимо воли от ссоры дело

перешло к палке; несколько ударов в виски и жертва упала на землю бездыханная,

«только зубы стиснула».

Этот кроткий человек из бродяги превратился в разбойника: два трупа лежало у костра, возле которого он сел бессознательно. Так просидел до утра; неподвижный, он

как будто не чувствовал холода, усталости; все его надежды пропали, он отрекся от всех

желаний в будущем.

Обычное следствие подобного состояния – самоубийство, но об этом он даже и не подумал, – напротив, жить, явиться пред людьми, рассказать им щирую правду, пусть

судят: если он преступник, то ему надлежит и кара за преступление.

К утру метель утихла. Опанас выгреб в снегу яму, положил в нее жену и дитя, закрыл их белым холодным саваном, ветвью хвороста обозначил могилу и, помолившись

над ней, пошел искать среди людей справедливого себе приговора. В половине апреля 1719 года в Дубне было необычайное движение. Народ собирался в группы, толковал о страшном разбойнике, которого прислал из Корсова солтыс, – бродяга из Литвы убил жену и двое детей и его так мучила совесть, что он сам отдал себя в руки правосудия. Простонародье во все времена было одинаково любопытно, – и кумушки, и почтенные хозяева, и евреи высыпали на улицу, по которой имели вести преступника из тюрьмы в магистрат. Догадывается, конечно, читатель, что предметом разговоров жителей Дубно был несчастный Опанас. Шел он спокойно на суд в ратушу, окруженный стражею. В ратуше было также необычайное движение, должностные лица явились в полном составе; во главе их был Исидор Антоний Стрешковский, Дубенский войт, важный и уважаемый житель города; далее шли славетные: Ян Духневич, Павел Кирьяненко и «другие бурмистры и цехмистры». Один из райцев Стефан Трушевич, как грамотный и начитанный в законе, принял на себя легкую в этом случае роль прокурора, стоял в стороне, имея под мышкой огромный фолиант «саксонского права»; он только о том старался, чтобы удачно подвести пункты и параграфы, касающиеся настоящего дела. Младший из судей Павел Кирьяненко занялся порядком, старался, чтобы было все исполнено согласно уставу, приказал в судебной избе приготовить розги, «кобылу», гири, блоки, щипцы, – словом орудия пытки; а ну, если не захочет говорить правды при допросе, тогда нужно непременно приступить к «конфесатам тортулярным», нужно взять его на пытку. Знал он доподлинно от Трушевича, что Опанаса ожидает неминуемая кара смерти; а Магдебургское право не употребляло виселицы, а только меч, и вот нашел он и заржавевший меч, недоставало только палача для довершения правосудия. К удивлению нужно сказать, что на целом пространстве южных воеводств один только Каменец имел «ката» (палача), но от Каменца до Дубна не так близко, наконец вызов такого важного должностного лица сопровождался кой-какими расходами и даже некоторым унижением, так как Каменец за эту соседскую услугу требовал не только денежного вознаграждения, но даже и заложников, как гарантию в том, что кат возвратится в целости и здравии телесном и духовном. Так, в 1707 году славетные жители Баворова за одолжение «Мистера Михала», заплатили несколько талеров и кроме того трое их делегатов должны были ожидать в

Каменце его возвращения и, что еще важнее, дали магистрату письменное обязательство, в том что они не сделают ни шага вне стен города. Славетный Кирьяненко знал обо всем этом, знал и о том, что войт противник смертного приговора, и потому обдумывал, как бы помочь беде. Кто-то ему шепнул, что между стражей есть один, который видел, хотя уже и давно, как людям секут головы, знает если не в практике, то в теории эту трудную науку и готов применить ее теперь к делу.

Но возвратимся к Опанасу. Дело обошлось без пыток, стал он пред судьями и раз, и другой, и третий, как того требовал закон, рассказал всю свою горькую долю, – «слово в слово, ничего не изменяя, ничего не опуская, ничего не прибавляя». Судьи, выслушав добровольные показания преступника, приступили к составлению приговора, который так гласил: «оный, вышеупомянутый убийца, Опанас должен быть усечен мечем, а потом тело, его, на четыре части рассеченное, должно быть вбито на пали в четырех местах при дорогах, каковая экзекуция должна совершиться в пятницу дня 21 апреля 1719. Каковой декрет мы, уряд города Дубна, руками нашими подписываем, при обычной печати».

Бродяга выслушал приговор без тревоги, вышел удивительно спокойным, лицо его даже как будто просветлело. Сам он не мог дать себе отчета в совершившемся; люди же, стоявшие в стороне, лучше могли это выполнить: они говорили, что убил он «поразбойнически», потому-то ему и надлежит быть таким.

Но если славетный Кирьяненко так держался буквы закона, то войт Исидор Стрешковский был совсем другого убеждения; приговор он, правда подписал, потому что иначе не мог поступить, «саксонские параграфы» ясно того требовали, но подписать приговор и исполнить – две разные вещи. И прежде не раз присылали преступников в Дубно, ратушное начальство приговаривало их к смерти, но всякий раз нужно было ждать с выполнением приговора по разным причинам, а тем временем осужденный на смерть преступник преспокойно уходил из заключения... и начальники города не искали беглеца, в простоте сердца, свидетельствующей о доброте их, думая, что на гультая даже не годится поднимать руку и наказание за преступление надо предоставить воле Божией.

Войт именно принадлежал к этой категории людей; поэтому беспокоили его желания младшего его товарища и готовность пахолка предложить свои услуги... Выйдя из судебной избы, он кивнул Гавришку, тюремному сторожу, старику

кроткой наружности, и позвал его к себе. Прийдя домой, чиновник затворил двери от

соседней комнаты, где работали женщины, и сказал на ухо гостю:

– Как думаешь, уйдет он еще в эту ночь?

– А конечно, убежит, – отвечал тот, плутовски подмигнув глазом, и ему не по душе было это уничтожение людей.

– Сделай же так, чтобы он ушел непременно, прибавил войт участливо.

Наступившую ночь не все одинаково спокойно провели: одни ожидали кровавой сцены, готовились к ней, укрепляя в себе нужный запас твердости нервов; иные думали о

том, что приговор слишком поспешно составлен, и в них пробуждалась совесть, – если

бы им пришлось отвечать, виновен \_\_\_\_\_ ли преступник, или нет, то решительно бы склонились к последнему: этот преступник как-то высматривал иначе, так открыто сознался, что вовсе не похож на разбойников, присылаемых в магистрат. Но эта «магбудария», этот «саксон» так закружил им головы, что переступить букву закона не

было никакой возможности. Пан Стрешковский спал спокойно, вполне рассчитывая на

Гавришка, и не мало было удивлен, когда тот утром явился к нему встревоженный, обеспокоенной.

– А что, ушла птичка из клетки? Спросил он, срываясь с постели. – Какое – ушел! И не двинулся с места, целую ночь с поникшей головой просидел на скамье.

– Имеешь ты, человек, Бога в сердце?

– Что же я больше могу сделать, ответил с неподдельной печалью Гавришко, – пришел я вчера вечером в камеру, зажег светильню, осмотрел стены и говорю ему,

указывая на ту стену, которая в поле выходит: «дыря заложена, но эту заплату можно

легко вывалить, а там пустой выгон и стражи нет никакой». А он и не посмотрел на меня. Тогда я подошел к нему ближе, взял его за плечо и говорю: «видишь эту стену из

глины, ее толкнуть кулаком, или ногой, и она рассыплется; туда осужденные уходят».

Он как-то странно посмотрел на меня и опять опустил голову.

– Что же теперь будет? Воскликнул войт, поспешно одеваясь, – нужно непременно отложить.

– И отложить нельзя, ответил Гавришко печально, уже целый город там, и Кирьяненко распоряжается, расхаживает, и Трушевич ему помогает, и священника уже

призвали, и ксендз из приходского костела есть, и писарь городской, только на пана

войта ожидают.

Бедный Стрешковский с опущенной головой пошел к тюрьме. Четыре стража, вооруженные заржавевшими алебардами, окружили Опанаса, в стороне стал священник,

одетый в траурные ризы, стал и дьячок с зажжённой свечой в руке. Шествие открывал

импровизированный палач, – страж-эзекутор, неся громадный меч. Медленно двигались

все к судебной избе. Писар магистратский прочитал приговор. В нескольких шагах был дубовый пень, поставленный на каменное возвышение. Опанас, по прибытии на место казни, перекрестился, поцеловал поданный ему крест, ему завязали назад руки, священник прочитал молитву на исход души, дьяк затаил вечную память, осужденный приклонил колени и положил голову на пень. Блеснул в воздухе меч; в толпе настало гробовое молчание... Сторж-палач сделался бледнее полотна: голова преступника не отпала от туловища, напротив, осужденный поднялся, посмотрел с укором на неловкого живодера; с шеи обильно лилась кровь. Остановить, остановить! Закричали окружающие, вмешались и оба духовные лица, – «согласно артикулам правным не допустили дорубить». Горькая ирония! Даже смерть не приходила на зов. Толпа, прежде равнодушная, теперь высказывала сочувствие к недорезанному человеку, посыпались монеты. Никогда еще не был таким богачом Опанас! Явился пред войтом цирюльник и обещал вылечить бедного, так как «и третьей части шеи не отрезано». Начальство магистратское было в недоумении, толпа стояла в ожидании, духовные спорили, а несчастный преступник ворочался возле пня, купаясь в собственной крови, и равнодушными, мутными глазами смотрел кругом... Представлялась ли ему корчма Абрама, или одинокая снежная могила в лесу, или может быть прекрасные луга Украины, к которой он целых пять лет шел и не мог добраться. Наконец, доводы цирюльника пересилили и ему отдали Опанаса «на излечение». Но не вылечил он его: «на девятнадцатый день после экзекуции Опанас умер мирно». Подлинно доля мужика: это был вовсе не разбойник, а только несчастливец!... Вот все, что мы нашли об участии этого человека в Дубенских магистратских книгах (1677-1720) и все это помещено на 68 листе под № 1368.\*\*

\* Dr. Antoni J. Opowiadania. Serya Czwarta. – Warszawa, 1884. – Т. 1.

\*\* стаття подана за авторським примірником, що зберігається в родинному архіві А. М. Трембіцького, де рукою Є. Сіцінського внесені деякі зміни і виправлення в текст

уже видрукуваної праці

*Джерела та література*

1. Сецинский Е. Перекл. з пол. Д-ра Антоний. Исторический рассказ из прошлого столетия // *Волынь*. – 1889. – № 20-23;

2. Сіцінський Є. Гектор Кам'янецької фортеці / Передм. та упор. А. М. Трембіцький.

– *Хмельницький* : [б. в.], 2003. – 30 с.

3. Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Монографія. – *Хмельницький* : ПП Мельник А. А., 2009. – 300 с.